Цена 60 коп.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ

Заключают договоры

ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА

НА СЛУЧАЙ ГИБЕЛИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТ ПОЖАРА, НАВОДНЕНИЯ, БУРЬ И ДРУГИХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

На добровольное страхование принимаются предметы домашнего хозяйства и обихода, предметы личного потребления и удобства, как, например: мебель, одежда, обувь, посуда, музыкальные инструменты, книги, картины, фотоаппараты, швейные машины, радиоприемники, телевизоры, велосипеды, мотоциклы, сельскохозяйственные продукты и т. д.

За страхование домашнего имущества уплачивается в год с каждой тысячи рублей страховой суммы

в городах и рабочих поселках — от 1 до 4 рублей;

в сельских районных центрах и дачных поселках — от 2 до 5 рублей;

в остальных сельских местностях — от 2 до 12 рублей.

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ИНСПЕКТОРАМ ИЛИ АГЕНТАМ ГОССТРАХА

Главное Управление государственного страхования СССР

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 26 1956

Михаил КОЛЬЦОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 26

Михаил КОЛЬЦОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Издательство «ПРАВДА»
Москва. 1956

СОДЕРЖАНИЕ

Ник. Кружков. *Михаил Кольцов* 3
Что значит быть писателем 7
Свидание 11
Внутренне счастливый 20
Три встречи 25
Мастер культуры 32
Генерал Лукач 38
Мужество 43

Михаил Ефимович Кольцов.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ.

Редактор — **Н. Н. СЕКУНДОВ.**

А 05799. Подписано к печати 16/VI 1956 г. Тираж 150 000. Изд. № 538. Заказ № 1179. Формат бумаги 70×108¹/₃₂. 0,75 бум. л.— 2,05 печ. л.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина. Москва, ул. «Правды», 24.

Михаил КОЛЬЦОВ

(1898—1942)

Имя Михаила Кольцова, одного из блестящих советских фельетонистов, пользовалось популярностью и в столице, и в деревне, и в маленьком провинциальном городке. Читатель «Правды» тех лет, когда Михаил Кольцов работал в центральном органе партии, знал, что в любом материале, подписанном Кольцовым, он найдет острую волнующую тему, ясный и чистый, образный язык, теплый (кольцовский) юмор.

Хотя в период расцвета своей литературной известности Кольцов был уже не молод, от его фельетонов и очерков веяло молодой страстностью, ярким темпераментом, казалось, что автор сам юн, столько в нем было какого-то студенческого, молодого задора.

Место рождения Кольцова — город Киев, год рождения 1898. Революцию он встретил в Питере, будучи одним из тех нищих студентов, которые ютились в «ротах» за Измайловским проспектом или в пыльных, грязных улицах и переулках за Старо-Невским. Девятнадцатилетний Кольцов жил впроголодь, кое-как добывая себе средства к жизни уроками и репортажем.

Когда началась гражданская война, Кольцов добровольцем ушел в Красную Армию. Водоворот жестокой борьбы целиком захватил его. Вступив в 1918 году в партию, он свое перо отдал фронтовой печати. В огне гражданской войны формировался и закалялся Михаил Кольцов — политработник и журналист.

В «Правде» первая его корреспонденция была напечатана в 1920 году. Фельетон был прислан с фронта. Он волновал и проникал в душу, от него пахло порховым дымом. Фельетон сразу запомнился. Затем появились другие фельетоны и очерки, и каждый из них оставлял впечатление новизны, свежести. Ясно было, что в газету пришел человек, отличающийся большим, разносторонним журналистским дарованием.

Вскоре имя Михаила Кольцова приобрело заслуженную популярность в стране. Как настоящий большевик-журналист, он всегда

находился в состоянии мобилизационной готовности. Он не дожидался приступов вдохновения для того, чтобы браться за перо. Сегодня он на заводе, в цехе, беседует с рабочими, вникает в тонкости текстильного производства или мартеновской плавки, а завтра он едет в деревню. Едва успев написать одно, берется за другое; вернувшись из Вапнярки или Мурашей, садится в самолет, и стремительная машина уносит его в далекие края, известные лишь по учебникам географии. Сегодня он очертя голову летит через Гиндукуш, а через некоторое время, пробравшись в белогвардейскую берлогу, берет интервью у «самого» генерала Шатилова.

Много раз приходилось Михаилу Кольцову на своем журналистском пути смотреть опасности в лицо. Немало бессонных ночей пришлось ему провести, сидя за рулем автомобиля, или в кабине пилота, или в тряской телеге крестьянина. Жизнь мчалась вперед, и надо было мчаться вместе с ней, присутствовать при рождении новых значительных явлений, выкорчевывать «осколки разбитого вдребезги», поднимать высоко на щит или разоблачать.

Кто Михаил Кольцов: журналист или писатель? Вопрос, пожалуй, праздный. Он журналист, потому что арена его действий — газета, он писатель, потому что его фельетоны, очерки, корреспонденции, большие или малые, подвальные или пятидесятистрочные, пленительно ярки, талантливы и запоминаются накрепко. Писатель, работая над материалом, никогда не ограничивает себя количеством строк. Он имеет время для того, чтобы тщательно обдумать каждую деталь, он волен в выборе темы и материала. Журналист связан точно определенным количеством строк в газете. Журналист должен уметь видеть в каждом явлении главное. Детали занимают его постольку, поскольку они помогают уяснить основную мысль. Журналист по рукам и ногам связан временем. То, что сегодня интересует газету, завтра может быть никому не нужно. Надо работать быстро.

Творчество Михаила Кольцова замечательно, однако, тем, что его журналистские работы — статьи, фельетоны, очерки, корреспонденции,— написанные в стремительном темпе, никогда не носили следов торопливости. Фельетон или очерк Кольцова — всегда законченное, совершенное литературное произведение.

Газетный материал обычно живет один день. Мы вправе гордиться Михаилом Кольцовым как журналистом потому, что многие из его фельетонов и очерков, написанные много лет назад, до сих пор еще сохранились в памяти, не потеряли своего общественного звучания, не растеряли своих красок.

Однажды Кольцов рассказал в печати о себе и о своей работе. Этот рассказ не лишне вспомнить.

«...Я всецело подхожу под известного злосчастного журналиста из анекдота.

Его спросили:

— Вы читали такую-то книгу?

И он ответил:

— Голубчик! Мне и писать некогда.

Очень часто я напоминаю себе трамвай, набитый пассажирами, как селедками, обвисший людьми на подножках и буферах, дико трезвонящий на прохожих, пропускающий остановки. Иногда же — девушку с подносом в ночной пивной, где сразу в двадцать голосов окликают посетители. Почта... О ней надо рассказать как-нибудь отдельно и подробно, об этой удивительной, доходящей до пятидесяти писем в день пачке подлинных человеческих документов, свежих откликов со всех концов страны, живых человеческих строк, наполненных чем угодно — от предсмертной скорби самоубийцы до жалоб на отсутствие в городе хорошего казино. Нет в текущей жизни буквально ни одного события, которое не находило бы себе отражения, протеста, восхваления в ежедневной присылке писем у современного газетного писателя. Почтой начинается рабочий день. В нем нет ничего от традиционного литературного образа жизни. Разъезды по заседаниям и учреждениям, частые визиты в суд и контрольную комиссию, где решаются в присутствии автора судьбы его невыдуманных героев, бесчисленные встречи с бесчисленными людьми... Все надо посмотреть, почувствовать, оценить и не ошибиться. Надо быть честным «ухом и глазом» своих читателей, не злоупотреблять их доверием, не утруждать их чепухой под видом важного и не упускать мелочи, определяющей собой крупное».

Читатель любил Михаила Кольцова, потому что он видел в его произведениях подлинную правду жизни. Он знал, что фельетон или очерк Михаила Кольцова всегда расскажет ему о главном, интересном, значительном, важном.

Когда в Испании вспыхнул фашистский мятеж, когда в благословенных долинах Андалузии и на плоскогорьях Кастилии загремели пушки, Михаил Кольцов поспешил туда, где происходили события, волновавшие весь мир. В течение полутора лет он находился в гуще испанских событий. Он объездил все участки тысячеверстного фронта. Под свист пуль и грохот разрывающихся снарядов он писал свои корреспонденции. Вместе с республиканскими летчиками он участвовал в головокружительных полетах. Он днями и ночами находился в окопах, беседуя с республиканскими солдатами и офицерами, набираясь впечатлений, впитывая в себя краски происходивших событий.

Испанские очерки Михаила Кольцова, написанные в боевой обстановке, под грохот авиационных бомб, оставались такими же пленительными по своей форме, такими же совершенными, как и те фельетоны и очерки, какие писались в редакционном кабинете.

«Небо 1937 года раскрывается в своей парадной, сверкающей красоте. Оно прославлено, это мадридское небо; удивительное по своей прозрачности, огромной светосиле, оно дает почти вещественное, пластическое ощущение своей глубины. В него можно смотреть, как в спокойный хрустальный пруд...» Но «...человек, проводивший зиму 1936—37 года в Мадриде, будет всегда, даже к старинным полотнам Веласкеса и Риберы, мысленно пририсовывать бомбардировочную и истребительную авиацию».

Замечательно теплые, волнующие слова находил Кольцов для описания доселе безвестных героев испанской республиканской армии, и именно потому «Испанский дневник» Михаила Кольцова является правдивым, честным документом горячих событий тех лет, документом, который и в наши дни нельзя читать без глубокого волнения, скорби, горечи и страсти.

Книжка очерков Михаила Кольцова, которую мы предлагаем читателю, представляет лишь очень малую часть работ великолепного советского фельетониста. Здесь собраны литературные портреты — результаты встреч с замечательными людьми, писателями, общественными деятелями. В каждом из этих очерков мы видим поданные крупным планом яркие, характерные черты человека, подмеченные острым взглядом наблюдательного и тонкого художника.

Великий Горький и известный германский революционер Макс Гельц; Анатолий Луначарский — нарком, литератор, один из выдающихся строителей социалистической культуры — и Анри Барбюс — пламенный французский коммунист и писатель, чье произведение «В огне» обошло весь мир; «чудо чистой жизни» Ромэн Роллан и Матэ Залка — венгерский коммунист и писатель, сражавшийся в Испании за дело трудящихся и павший там смертью героя, и, наконец, Николай Островский — писатель-подвижник (кстати говоря, Михаил Кольцов первый написал о нем).

Все они теперь мертвы, но перо Михаила Кольцова воскрешает их в нашем сознании, они, как живые, встают перед нами во всем своеобразии своего облика — прекрасного, сильного, мужественного.

Ник. КРУЖКОВ

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ПИСАТЕЛЕМ

Тусклое солнце слабо греет красный бархат и позолоту старой посольской мебели. За стеклом — тревожный поток Унтер ден Линден. Идет с литаврами и барабанами конный полицейский эскадрон. Топают гитлеровские штурмовики в коричневых рубашках, обвязанные накрест ремнями.

Горький пристально смотрит в окно. Он щупает глазами каждого прохожего, каждый автомобиль, каждого седока в нем. И слегка сердито объясняет:

— Напрасно вам говорили, что палехские артели стали хуже работать! И вовсе это не так. У них был очень интересный художественный перелом, появились новые орнаменты, вызревают очень интересные вещи в новом духе. А палеховцы — мастера огромной силы, они сейчас заканчивают большие работы!..

...На перекрестке перед окнами закупорилось уличное движение. Только что прошел батальон войск, но полиция движения хочет создать дистанцию и задерживает вереницу машин. Шоферы в знак протеста устраивают гудками оглушительный концерт. Горький внимательно слушает какофонию. И как будто в ответ на нее говорит без всякого вступления и перехода:

— Очень хорошо, что мы сейчас взялись за сковороды и за ухваты, за всякие ведра и кастрюли для ширпотреба. Но, позволю себе заметить, недостаточное внимание уделяется гвоздям. Совершенно недостаточное! Я уже не говорю о промышленности, о строительстве. Но в простом крестьянском хозяйстве гвоздь бывает важнее всякой сковороды и всякого ухвата!

...Правительствующие голландские лавочники, нажившие груды золота на мировой бойне, не хотят пропускать в Амстердам советскую делегацию на антивоенный конгресс. Он составляет телеграммы, ведет переговоры одновременно с Амстердамом и Москвой, принимает и выслушивает людей. Размечает карандашом газеты, дописывает для конгресса свою

речь, которую вряд ли еще доведется произнести. И, выкроив два часа спокойных среди телеграмм и междугородных переговоров, исчезает, чтобы вернуться просветлевшим, отдохнувшим, в приподнятом настроении.

— Мы вас искали, чего же вы с нами не поехали?! Блестящая штука — художественная и притом строго научная реставрация Пергамона. Вавилонский дворец восстановлен — не модели какие-нибудь, не панорамы, а целые куски стен, ворота — в натуральную величину, во всех подлинных красках. Роспись, мозаика — великолепно!

И поздно вечером, проходя у темного силуэта Бранденбургских ворот, громадный, на фоне стандартной немецкой толпы слегка неправдоподобный своей широкополой шляпой и длинными усами, усталый, в предвидении мучительной, бессонной удушливой ночи с кислородными подушками, — он все еще гудит неустанным басом:

— Что бы нам такое сделать с «Литературной учебой»? Совсем глохнет это дело. Редакция почти развалилась, актив слабо работает. Надо бы ее приблизить к оргкомитету и потом по издательской линии реорганизовать...

И утром опять, отложив в сторону белогвардейские газеты, говорит спокойно-хозяйственно:

— Надо бы писателя Икс привлечь нам к работе в «За рубежом». Он от белых отошел совершенно, но остается пока за границей, может интересно рассказать о французской провинции — живет там в гуще много лет.

В бульварных газетах сегодня, как и вчера, рассказывают, что Горький продался большевикам за два вагона икры и полтора миллиона долларов, что он вместе с семьей распродает на Сухаревке подаренные ему правительством эрмитажные картины.

...Да, большевики купили Горького. Купили без остатка, на всю жизнь, в вечное пользование.

Купили тем, что в большевистской партии Горький нашел громадное полчище таких же борцов за интересы рабочего класса, против угнетения и издевательства человека над человеком, таких же неустанных воинов за человеческое достоинство, как он сам, на всем протяжении долгой, неугомонной своей жизни.

И таких же работников.

Стиль Горького в работе — большевистский стиль. Его вспыхнувшая в самом раннем детстве, горевшая всю жизнь жарким костром, а теперь, после последних лет тесного сопри-

косновения с партией, многосторонняя жадность к культуре — это большевистская жадность.

Оттого так полюбился Горький большевикам. И они ему.

Это стиль работника-большевика — не отвлекаться, не растворять себя в окружающей обстановке, а думать, делать, вспоминать то, что кажется важным, вне зависимости от места, от сегодняшней погоды, от минуты. Горький ездит по городам и странам, видится со многими тысячами людей, получает многие тысячи писем, но в этом водовороте отлично владеет своими намерениями и затеями, не забывает, не отступает от них, а необычайно настойчиво и терпеливо проталкивает вперед.

Ему ничто не мешает в берлинской суматохе защищать репутацию палехских кустарей и агитировать за снабжение крестьянина гвоздями. А в подмосковной глуши, глядя в окно на российские осенне-голые березы, он так же горячо и настойчиво разъясняет:

— Что же это вы, в Испании были, а ничего не слышали об Эса де Кэйрош! Он хотя португалец, но отлично известен в Испании. Его «Реликвия» — блестящая штука, антирелигиозный роман. Удивляюсь, как он мог там появиться на свет. Хотя в папский индекс запрещенных книг наверняка включен.

И, повергая в смущение невежественных собеседников, толкует с ними о новейших раскопках в Италии, об опытах переливания крови из трупов, о картинах голландских мастеров, об американском способе очистки нефти. Сильная и цепкая память не просто коллекционирует груды фактов, она сопоставляет и сталкивает их со смелостью и свободой большого художника-диалектика.

Он замечательно соединяет огромное множество фактов, имен и живых людей — связывает в живые творческие узлы, этот изумительный неуемный писатель и человек. У него голова большевика. Он этой большевистской головой думает и творит для большевиков, для рабочих, для тех, кто раньше был «народными низами», для тех, из толщи которых он пробился и вышел наружу.

Сорок лет назад первый рассказ Горького появился на газетной странице. Знакомые этого его периода вспоминают: «Ходил он тогда в белой, вышитой у воротника рубашке, носил длинные волосы, широким лицом напоминал хорошего умного деревенского парня. Вероятно, тогда еще никто не думал, что из него вырастет большой писатель. Но рассказчиком он был чудесным и тогда, и своим грубоватым бурсацким

баском говорил так ясно, колоритно и образно, что слыхавшие помнили его рассказы много лет».

Чистая рубаха с белым воротником была первым завоеванием молодого парня. Еще почти ничего не было рассказано, ничего не было написано. Но пережито было уже многое и важное. Двадцатипятилетний Максимыч с солидным своим баском уже прошел через тяжелые испытания «Детства» в грязных волжских пригородах, среди пьяных драк, первобытной, хамской жестокости, унижения людей. Он уже прошел длинные томительные отроческие годы «В людях» в закопченных лавчонках, в иконописных мастерских, поваренком на пароходе, пожил с пьяницами, ворами и разбойниками.

Он уже прошел свои «Университеты» у изнуряющего огня крендельных печей. Уже тогда, почти полвека назад, на пороге своей литературной работы, знал он тысячи замечательных вещей и характеров, и социальных столкновений, и классовых противоречий.

Знал и понимал, к чему обязывает его это знание.

Он впрягся на всю жизнь в безграничную, настойчивую и целеустремленную, кропотливейшую, изо дня в день революционную творческую работу. Воспитывая, всегда учил самого себя, боролся с собой за себя, лучшего.

В воспоминаниях о Горьком пишут: «Был здесь человек один, человек простой, уездный и далеко не литературный. В молодости знал он Максимыча, а потом слыхал, что есть на свете такой писатель Максим Горький. Но что это одно и то же лицо — не знал. Прочитал он как-то «Ярмарку в Голтве», посмотрел на меня изумленными глазами, зажмурился и потряс головой:

— Замечательная, брат, штука... В аккурат, как, бывало, Максимыч рассказывал. Помнишь Максимыча? Ну, только у того как-то оно явственнее выходило...»

Став много лет спустя вождем и учителем молодой советской литературы, Максим Горький неустанно требовал, чтобы у его учеников и подмастерьев выходило «явственнее». Частенько был он крут и сердит, частенько бивал нас, советских писателей, крепкой своей дубинкой, бивал за неграмотность, за некультурность, за неуважение к высокому ремеслу советского писателя, к которому он пришел так драматически и своеобразно. Всегда боролся за революционное, за воинствующее, за материалистическое действие литературы, против реакционного и мистического художественного словоблудия.

И, поднявшись из самых темных и отверженных капиталистическим обществом социальных низов на мировые вершины культуры нашей эпохи, он сохранил при себе как лучшее свое оружие любовь к трудящимся, ненависть к эксплуататорам, проникновенную жадность к живым людям и к живым делам, революционный реализм в творчестве, интернациональный размах в культурной работе и пристальное внимание ко всему конкретному, где бы оно ни находилось, где бы и как ни происходило. Вот это и значит быть писателем у большевиков.

1932

★

СВИДАНИЕ

Господин директор был очень любезен.

— Вам предоставлено право говорить с заключенным, о чем угодно.

Я благодарственно поклонился.

— Пожалуйста, пожалуйста. Мы в этом отношении не ставим никаких препятствий. Единственно, чего я просил бы вас не касаться в разговоре,— это политического строя Германии. Подобная тема запрещается нашими правилами.

— Ну, что поделаешь. Постараюсь не касаться.

— Очень прошу. И вообще разговор не должен касаться никаких политических вопросов.

— Но разве...

— К сожалению, это никак не может быть допущено. Не я пишу постановления, и не я вправе их отменять.

— Но ведь это очень ограничивает разговор!

— Отчего же! У вас остается еще столько интересных тем. Кстати, совсем упустил из виду: обмен мнениями и осведомление об условиях пребывания заключенного в тюрьме тоже при свидании не разрешаются.

— И об этом нельзя? О чем же можно беседовать?

На лице директора засияла сама любезность.

— Я ведь вам сказал: о чем угодно! Не забудьте только еще, что какие бы то ни было поручения, ни свои, ни чужие, вы не можете в разговоре ни принимать, ни передавать. Впрочем, не беспокойтесь. Если разговор перейдет границы дозволенного, я вас остановлю. Ведь я,— тут директор превра-

тился в одно сплошное добродушие,— ведь и я буду присутствовать.

Оставалось только согласиться. Беда с этими гостеприимными хозяевами! Всегда они стараются не оставлять гостей друг с другом наедине, без присмотра.

Господин директор нисколько не напоминает шекспировских тюремщиков. Его корректный сюртук, крахмальный воротник и пенсне принадлежат скорей всего средней руки коммерсанту, на крайний случай — старшему врачу в большом сумасшедшем доме, вернее всего — пастору из богатого прихода.

К тому же и свидание происходит в молитвенной комнате при тюрьме. На стенах картины духовного содержания, в углу, за занавеской, исповедальня для католиков, над дверью выведен золотом по белому мрамору евангельский текст.

Как попал я сюда?

Об этом еще не пришло время рассказывать. Опустим занавес над началом путешествия и подымем его в том месте, где провинциальный поезд высаживает пассажира на перрон захудалой станции, откуда зыбко тащит его дальше, совсем в глушь, убогая узкоколейка.

Тяжелые, плечистые крестьяне садятся в вагончик прямо с поля, с косой и бутылкой молока в руках. Они устали и молчаливы, но охотно прислушиваются к чужим разговорам. Новости отсвечивают здесь тускло. Каждое событие звучит глухо, как далекий удар большого колокола. Кажется, что все на свете уже когда-то было: и сонная болезнь, и океанские перелеты, и мода на широкие штаны, и большие налоги. Всякое случалось; мудро качаются колосья, медленно бежит мимо окон запоздалое жнивье.

Лавочник на средней скамье словоохотлив. Особенно удал он со своими шутками по женской части. Но спутницы не обижаются. Они возбужденно визжат, когда весельчак хлопает их по широким спинам и грудям, выражая желание превратиться в младенца, если для него найдутся кормилицы.

Вдруг деревенский юморист становится серьезен. Он показывает в окно.

— Мы проезжаем Зонненбург! Вы знаете, что здесь теперь такое?

Лавочник наклоняется ниже. Он косится на чужих и шепотом рассказывает своим:

— Здесь, в Зонненбургской тюрьме, сидит...

Громадные соломенные шляпы таинственно соединяются в

кучку. Шепот не слышен: вагончики, гремя, подъезжают к платформе.

Липовая аллейка, зеленая рощица. Крохотный городок дремлет под солнцем. Главная и почти единственная улица концами своими теряется в крестьянских полях. На главной улице — школа, мясник, редакция «Зонненбургского вестника» (пятьсот экземпляров, заметки в хронике о рождении поросят и продаже лошадей уважаемых граждан Зонненбурга), сапожник, гробовщик и непременная для любого, самого дремучего немецкого захолустья автомобильная мастерская с ярко раскрашенной бензиновой колонкой у входа. Каждые четверть часа у колонки круто останавливается разгоряченная фиолетовая или пепельная машина; шофер сует резиновую соску в жаждущие баки, господа и дамы в дорожных шлемах рассматривают сквозь дорожные очки, безмолвно и холодно, как марсиане, почтительный городишко. Они проносятся дальше пыльным, щуршащим видением, и опять в Зонненбурге деревенское благодушие, и жандарм на велосипеде осторожно объезжает стороной городскую площадь, чтобы не вспугнуть курицу у подножия гранитного чурбана в честь Бисмарка. Если курица ошалеет и вывихнет ногу, об этом напишут в «Зонненбургском вестнике», объявят сочувствие хозяину курицы, выразят надежду, что господин жандарм будет впредь осторожнее ездить на велосипеде.

И есть гостиница, конечно, «Отель кронпринц», и старый хозяин играет в общей комнате с гостями в карты, и на стене вечно юный кайзер, вздымающий мир на кончики своих усов.

Хозяйская дочка свежо улыбается.

— Недавно бог смиловался над Зонненбургом. Ведь мы такой бедный городок! Никто не заезжает, не останавливается у нас. Сейчас у нас расквартировали целый отряд. Военные много пьют пива, папа имеет партнеров, а господа офицеры очень милы со мной.

— А зачем же Зонненбургу военный отряд? Ведь отсюда три года скачи, ни до какого государства не доскачешь.

Гоголевская шутка и здесь имеет успех. Но лицо девушки освещено тысячелетним пламенем сенсации. С таким оживлением доисторический человек сообщал ближнему о том, что у водопоя появился диковинный зверь.

— Как? Вы не знаете?! Ведь здесь, в Зонненбургской тюрьме, сидит...

Я сам знаю, кто здесь сидит. Надо отойти от Зонненбурга триста метров по шоссе, уже видна тюрьма — целый громадный

белый замок в зеленой чаще. Надо пройти через три двора, через караулы и контроли, надо беспрекословно подчиниться надзирателю, миновать с ним целую систему безупречно белых и безупречно стальных решеток. Мимо двери проведут целую стаю плененных волчат — молодых коммунистов в желтых арестантских куртках с нашивками на рукаве, одной или двумя, в зависимости от срока наказания. Потом директор еще раз повторит свои предупреждения и ограничения; поднимется легкая суета; кто-то в полкрика, как перед выводом львов в цирке, проверит всех сторожей у выходов. Появится большой, слегка взволнованный конвой, и впереди него, совершенно спокойно, непринужденно, легкой домашней походкой войдет в исповедальню среднего роста, крепкий, атлетического сложения, но очень стройный, подвижной человек.

Голова выстрижена наголо, под машинку, как у всех арестантов. Большие, грубые башмаки, как у всех арестантов. Желтая куртка, как у всех арестантов. Только нет на рукаве нашивок о сроке заключения. Для этого человека не хватило нашивок. Он осужден на пожизненную тюрьму.

«Мой отец был батраком-поденщиком на лесопилке. Работа всегда бежала от него, и мы, семья, скитались из деревни в деревню. Я не успел толком поучиться в сельской школе, с одиннадцати лет я уже был не едоком, а кормильцем. Нанимался сторожить гусей, был пастухом, смотрел за лошадьми при молотилке. Родители мои были и остались по сей день верующими, без молитвы мы никогда не ложились спать. Но молитвы не помогали отцу. Он зарабатывал десять марок в неделю, а нас было восьмеро. У моего отца была только одна радость: в воскресенье он усаживался в сторонке и долго, медленно курил свою единственную за неделю сигару. Он ничего никогда не ждал и не требовал от жизни, он до сих пор не понял того, что я делаю; может быть, еще когда-нибудь поймет. Я хотел стать слесарем, но родителям не на что было меня учить».

Так начинается автобиография Макса Гельца, знаменитого революционера-пролетария, имя которого настораживает ухо каждого немца шелестом надежды или шорохом опасности. Биография такая простая и такая громкая — множественно единая биография всякого революционного рабочего, последовательно взошедшего из подземелий рабской покорности на боевые высоты классовой войны.

«Шестнадцати лет я пробрался в Англию. Хотел во что бы то ни стало там учиться. Днем посещал техническую школу

в лондонском предместье. Ночью мыл автомобили в гараже вместо шоферов, которые обязаны были это делать. На медяки, которые я от них получал, должен был жить, платить за учение, покупать книги. Очень голодал. Не хватало даже на сухой хлеб. Однажды после трех дней полного голода меня подобрали на улице...»

Потом Гельц был сторожем, прислуживал в заводской столовой, подымал при пивной кегли по тридцати копеек за вечер — все для того, чтобы доучиться и устроиться квалифицированным рабочим на механический завод. Это удалось. Но сейчас же твердая рука свыше схватила человека-пешку, бросила в миллионную кучу ему подобных и послала умирать.

Восемнадцатый год. Гельц был среди уцелевших. С потоком серых шинелей он возвращается с фронта. В заводском городе — пятнадцать тысяч жителей, из них пять тысяч безработных. Сын батрака не унаследовал безответности отца. Война положила конец терпению его и многих. В ноябрьских грозах едва ли не самые сильные громы гремели в области Фохтланд, где Гельц стоял во главе совета безработных. Фохтландское восстание — стремительная лавина гнева и ярости угнетенных — перепугало насмерть всю германскую буржуазию. Вождь фохтландских мятежников переправился через границу, германское правительство требовало от чехословацкого выдачи Гельца как уголовного преступника, газеты называли его, честнейшего человека, не иначе, как «атаманом бандитов и разбойников». Чехословакия отказалась выдать Гельца, засвидетельствовав этим политический характер его деяний.

Восстание 1921 года в Средней Германии. Гельц снова во главе вооруженных рабочих. Вскоре после поражения он стараниям предателя попадает в руки полиции.

Как расправиться с ненавистным бунтарем? Пристрелить «при попытке к бегству»? Такое намерение было, но разбилось об опасность ответного массового террора. И с Гельцем было поступлено точно так же, как с Сакко и Ванцетти, только без физической смертной казни.

Немецкого революционера решено было похоронить заживо. И именно как уголовного преступника, как вульгарного грабителя, как обыкновенного убийцу.

Стряпня обвинений против Гельца не уступала по бесстыдству работе знаменитого судьи Тайера из штата Массачузетс. Полиция печатала в газетах объявления, в которых предла-

гала пятьдесят тысяч марок буквально «тому, кто может дать показания как свидетель обвинения против Макса Гельца». Нужно ли удивляться тому, что очень скоро нашелся охотник на столь приличное вознаграждение и клятвенно показал, что Гельц самолично убил с целью грабежа помещика Гесса в Ройцгене...

22 июня 1921 года чрезвычайный суд без участия присяжных заседателей приговорил Гельца к пожизненному тюремному заключению. Буржуазная пресса бурно приветствовала приговор... Гельц в ее изображении был чудовищем из чудовищ, редкостным экземпляром человеконенавистника, массовым истребителем мирных граждан, настоящим красным сатаной.

Главный свидетель обвинения, представленный на процессе как безукоризненно правдивый человек, начал вскоре давиться своими пятьюдесятью тысячами марок. Его замучила совесть, и в официальном заявлении он взял все свои показания обратно. Он лично явился в верховный суд и объяснил им, как и зачем он лгал на разборе дела Гельца...

Мало того. Отыскался настоящий убийца ройцгенского помещика. Это был рабочий калиевых копей по имени Фрие. Несколько лет он терзался мыслью, что другой человек, и тоже пролетарий, томится в тюрьме за его преступление. Не раз хотел он пойти открыться властям; близкие отговаривали его, говоря, что себя он сделает несчастным, а Максу Гельцу все равно не поможет. Смерть жены показалась убийце первым наказанием за двойное преступление. Он не выдержал, явился в Берлин и со всеми мельчайшими подробностями описал прокуратуре совершенное им убийство. Но дело... до сих пор еще не поставлено на пересмотр.

До сих пор сыщики и следователи осаждают соседей Фрие, добиваясь от них показаний о том, что убийца помещика есть «ненормальный индивидуум» и страдает «манией самообвинения». А в ответ на поднятую в связи с полным и несомненным восстановлением невиновности Гельца кампанию за его освобождение министерство юстиции опубликовало классическое «разъяснение»:

«Ввиду возможного (!) выяснения истинных виновников убийства помещика Гесса разъясняется, что осужденный Макс Гельц все равно не будет освобожден, так как за ним имеются преступления и по другим статьям».

Главари фашистских восстаний, белые террористы, официально осужденные за монархические мятежи, давно амни-

стированы. Иные из них уже расселись в депутатские кресла республиканского немецкого парламента. А Макс Гельц сидит, все сидит уже седьмой год в безупречном каменном ящике, за зловещим ажуром стальных решеток. Каждый коммунистический митинг, каждое рабочее собрание настойчиво требуют свободы для зонненбургского узника; каждая мало-мальски революционная демонстрация протестует против юридической расправы, совершенной классовым судом над политическим противником. А Макс Гельц все не снимает желтой арестантской куртки, ничего не видит, кроме клочка неба через оконный квадратик, кроме пустыни асфальтового двора на прогулке.

— Ты знаешь, господин директор не разрешает говорить об условиях, в которых тебя содержат. Поэтому я просто спрашиваю: как ты себя чувствуешь?

Гельц щурится и в совсем молодой лукавой улыбке показывает два ряда отличных, крепких зубов.

— За последнее время гораздо лучше. Только ревматизм меня сильно беспокоит. А так — ничего.

До самого последнего времени в целой веренице тюрем, по которым из каких-то соображений таскали осужденного, он подвергался всевозможным ущемлениям и придиркам. Гельцу пришлось провести ряд голодовок, выдерживать целые войны с тюремными чиновниками, страдать от их произвола. Но все это нисколько не отразилось на его лице. Никакой нервности. Никакой истерии. Оживленное, здоровое, мыслящее лицо, большие черные иронические глаза с бодрыми смешинками в глубине их.

— В первые годы я не был таким. Тюрьма сначала очень повлияла на меня. Потом я взял себя в руки. Я отлично понял, что заключенный умирает в тот момент, когда ограничивает свой мир тюрьмой. Чтобы жить и не опускаться, вне зависимости от сроков, надо иметь интересы и стремления по ту сторону стены. Они у меня есть.

Гельц содержится на самом обычном арестантском режиме, без всяких послаблений. Единственная, но важнейшая для него льгота, добытая целой серией голодовок и протестов,— это разрешение пользоваться книгами, читать и писать. Гельц использовал эту возможность полностью, до отказа.

— Встаю в четыре часа, ложусь в восемь. Два часа трачу на гимнастику, обтирание холодной водой, отдых. Остальное все время — за столом, с пером и книгой в руках.

Целые кучи книг прочитаны, изучены, проконспектирова-

ны. Гельц вертит в руках список своей библиотечки, занимающей половину всей его камеры.

— Хочется читать буквально все, без разбора. Ведь мы все, революционные рабочие,— недоучки, а я так совсем неучем вошел в движение. Приходится ограничиваться, читать по системе, чтобы лучше и больше успеть.

На столе у Гельца лежат труды по психоанализу в соседстве с «Проблемами китайской революции», агрономические книги рядом с «Вопросами ленинизма»; Горький, Форель, Дарвин, все ленинские тома. Он беспокоится: говорят, в новом издании Ленина есть не опубликованные раньше статьи, а на немецком языке всего этого еще нельзя достать.

Мы говорим долго, до сумерек, и очень много, обо всем, и господин директор, усевшийся в стороне надутым классным наставником, забыл о том, что нас надо перебивать. Он слушает, весь сам полный интереса, нашу пространную, совсем по-русски нескончаемую беседу о международном политическом положении, о будущих выборах в Германии, об Америке, о Лиге наций, о засухоустойчивых культурах пшеницы, об омоложении, об опасности войны, о новых театральных постановках, о Сибирско-Туркестанской железной дороге, о боксе, об автостроительстве в СССР.

При каждом упоминании имени Советской страны Гельц становится все более как-то строже, тверже, серьезнее. Что-то в нем выпрямляется. Иронические блестки уходят из глаз, уступают место металлическому отсвету.

— Ведь десять лет! Уже совсем скоро будет десять лет! Именно это — самое лучшее, самое дорогое, что есть для меня на свете. Пойми, попробуй это понять по-настоящему, и тогда ты по-настоящему поверишь мне: вся моя жизнь, каждая моя мысль, каждое дыхание принадлежат Советскому Союзу.

Этот крепкий, даже внешне, по облику настоящий борец, весь из стальных мускулов отлитый, ничуть не сокрушенный семью годами строгого одиночного заключения человек, сейчас по-настоящему взволнован.

— Господин директор, вот вы совсем других убеждений, чем мы оба. Но ведь и вы, не правда ли, вы не станете отрицать, вы подтвердите, что советская власть имеет за свои первые десять лет огромные, неслыханные достижения!

Господин директор словно просыпается ото сна. Он опять принимает свой установленный инструкциями вид.

— Прошу вас, Гельц, не высказывать и не предугадывать

мои мнения, особенно по общеполитическим вопросам. Это — дело мое, а не ваше. К тому же я считаю, что ваше свидание слишком затянулось.

Мы прощаемся. Гельц деловито, практически нагружает своими текущими мелкими заботами. У него всегда есть тучи этих забот — не о себе, а о соседях по тюрьме, о политических и об уголовных. Со всеми он ухитряется как-то держать связь, обо всех печься, писать по их делам письма, оказывать большую помощь, делать маленькие дружеские сюрпризы.

— Тут сидит уже шесть лет один несчастный чертяка. Его закатили на восемь лет за соучастие в ограблении поезда. Я убежден, что это не профессиональный преступник. У него нет ни адвоката, ни родных, ни одного человека во всем мире, кто подумал бы о нем. Он еще ни разу ни от кого не получал никаких передач. У меня очень большая просьба: нельзя ли послать этому фрукту хоть какой-нибудь пакетик? Только, пожалуйста, безымянный, не то он догадается, что это мои штуки. И затем, если можно, непременно вложите туда какую-нибудь брошюрку по птицеводству. У парня болезненный интерес к разным птичкам!

— До свидания...

— Да, я надеюсь, что мы увидимся. Говорят, меня хотят амнистировать, чтобы избежать скандального пересмотра процесса, который должен же когда-нибудь состояться. Я склонен верить в возможность такого маневра, это похоже на правду. Если я выйду, я сначала поработаю с полгода в организациях, в ячейках, освоюсь с живой жизнью и тогда, уже «осмысленным человеком», а не свежим арестантом, приеду к вам. Иначе не будет никакой пользы...

Господин директор наблюдает, как двое мужчин троекратно целуются, жмут друг другу руки, уходя, долго, слишком долго смотрят друг на друга. Это не запрещено между близкими родственниками. А эти? Они не родственники, но, видимо, чем-то очень близкие. Надо будет для следующего раза справиться в циркулярах.

В тюрьме уже знают. Когда повторно звенят замки и решетки, выпроваживая редкого гостя, молодой звонкий голос откуда-то издалека, из пятого этажа камер, доносит долго, протяжно, до конца легких:

— Да здравствует Москва!

1927

ВНУТРЕННЕ СЧАСТЛИВЫЙ

Этого человека я видел тысячу раз. И когда хочешь рассказать, не знаешь, какую из встреч выбрать, какой отдать предпочтение. Все подступают вместе, все толпится, все напоминает этого человека, более живого, чем сама жизнь.

Я хорошо помню вечер, когда мы с Анатолием Васильевичем Луначарским вместе пришли в Наркомпрос на вечер по случаю юбилея советской власти.

Юбилейная дата была небольшая — советской власти исполнилось тридцать дней. Был декабрь девятьсот семнадцатого года. Народный комиссариат просвещения помещался в Петрограде, в здании министерства просвещения, у Чернышева моста.

Огромный, не топленный саботажниками зал. Тускло мерцает единственная лампочка. На собрание пришли две группы. Одна группа — необычайно и странно пестро одетых людей — это были советские люди, большевики, которые работали по просвещению. Другая группа — угрюмых чиновников министерства — из той части, которая решила не вести саботажа и «пока что» помогать советской власти. Перед этой странной аудиторией, в этом полупризрачном зале народный комиссар Луначарский произносит речь на тему о том, что вот советская власть держится уже целых тридцать дней... Не помню содержания всей речи в целом. Но помню тот величайший подъем, который объял и меня, и моих товарищей, и даже чиновников — канцелярских крыс... Чего только не мобилизовал Луначарский, чего только не привлек в свою речь по случаю тридцатидневного юбилея! Говорил о семи днях, в которые господь создал мир, о сорока днях потопа, о ста днях Наполеона, о семидесяти двух днях Парижской Коммуны... Перед зачарованными слушателями развернулись картины, которые им не снились, которые они никогда и не представляли себе. Чиновники впервые в жизни увидели говорящего министра. И как говорящего!

Последние слова нарком произнес под гром аплодисментов.

— Товарищи! — заявил он.— Наши враги предсказывали, что мы не сможем продержаться больше трех дней. Другие, более сдержанные, пророчили нам не более двух недель. Вы видите: мы держимся уже целый месяц, и я вас заверяю, что если вы придете сюда через три месяца, то мы еще тоже будем держаться!

Я вижу Луначарского на трибуне Дома печати.

Помните это время? Занесенная снегом Москва, трамваи не ходят, посреди мостовой — «замло», то есть «заместители лошадей» — люди с салазками, холод... Дом печати был оазисом: здесь был буфет. Шутка сказать, в нем подавались такие деликатесы, как бутерброды с селедочной икрой!

На этом вечере, помнится, Луначарский вынес на суд членов Дома печати все свои драматические произведения. Драматургия была во всех смыслах слабым местом Анатолия Васильевича. Он любил писать пьесы, хотя они не всегда ему удавались. Он садился за стол как драматург, но в процессе работы забывал, что он драматург, вспоминал, что он философ, поэт, и старался в драматическую форму вместить все то, что возникало в его воображении. А это вызывало ожесточенную критику. Вся литературная Москва собралась на этот вечер.

Генеральным докладчиком, вернее, генеральным прокурором пьес, был П. М. Керженцев. Выступали такие свирепые критики, как Маяковский, Шкловский и многие другие. Луначарский сидел на эстраде и в течение четырех часов слушал совершенно уничтожающие обвинения по адресу своих пьес. В процессе критики ораторы очень увлекались, и к концу вечера получилось, что автора пьес нужно чуть ли не арестовать и присудить к «высшей мере» без замены.

Луначарский слушал все это молча, и трудно было себе представить, что может он возразить на такой Монблан обвинений. И вот уже около полуночи, когда по тогдашнему обычаю начало мигать электричество, Анатолий Васильевич взял слово. Что же произошло? Он говорил два с половиной часа, и никто не ушел из зала, никто не шелохнулся. В совершенно изумительной речи он защищал свои произведения, громил своих противников, каждого в одиночку и всех вместе.

Кончилось тем, что весь зал, включая и свирепых оппонентов Луначарского, устроил ему около трех часов ночи такой триумф, какого Дом печати не знал никогда.

Мы вышли на морозную улицу. Он кутался в шубу. Мне интересно было узнать, что же у него осталось от этого утомительного сражения. Но он сказал только: «Вы заметили, что Маяковский как-то грустен? Не знаете, что с ним такое?..» И озабоченно добавил: «Надо заехать к нему, подбодрить».

Мы часто гуляли в Женеве и однажды пошли на улицу Каруж разыскивать ту маленькую столовую, в которой когда-то встречалась, спорила и готовилась к великим боям женев-

ская колония большевиков. Мы нашли это маленькое кафе и вошли туда. Вошли втроем, так как нас всегда сопровождал один господин...

К каждому члену делегации был приставлен отдельный шпик. Они вечно толкались внизу, в подъезде, прямо пройти нельзя было... Затем полиция женевского кантона решила сократить штат и прикрепила по одному шпику на каждых двоих из нас. У меня с Луначарским оказался общий шпик.

Мы сели за один стол, а наш спутник — за другой. Подали кролика. И вдруг Анатолию Васильевичу пришла в голову человеколюбивая идея: заказать нашему шпику порцию кролика. Я запротестовал. Ведь это же шпик, представитель капиталистической полиции, какого же лешего мы будем кормить его кроликом?!

Луначарский оспаривает:

— Формально вы подходите правильно, но по существу это не так. Посмотрите, ведь это еще совсем молодой человек. У него симпатичное выражение лица. Вы думаете, он родился шпиком? Вероятно, учился в школе, работал, мечтал, думал, что будет студентом, а потом врачом или инженером, но не выдержал какого-нибудь экзамена, остался без профессии, вот и пошел в полицию. Ведь это жертва социальных условий!

Я уперся и заявил, что категорически протестую против кролика для шпика. Он отказался от своей альтруистической идеи и быстро забыл о шпике.

— Для меня,— сказал он,— это кафе — повод для вороха воспоминаний и сравнений. Тридцать лет назад здесь нас была горсточка, мы все жались вокруг Ильича, ходили под строгими взглядами полиции. Даже мне, при всей моей пылкой фантазии, не могло придти в голову, что я вернусь сюда, в Женеву, на эту улицу Каруж, которую мы истоптали нашими сбитыми каблуками, вернусь в качестве представителя великой пролетарской державы, величайшего государства, в котором правит пролетариат, победивший под руководством Ленина. Я сейчас очень плохо физически себя чувствую. Так скверно, как никогда... У меня есть не предчувствие, а просто какой-то сигнал организма, что я долго не проживу. И я вам должен сказать,— добавил он страстно и с какой-то торжественностью.— что я нисколько этого не боюсь! Я так счастлив всем тем, что дала наша борьба, всем тем, что мы сделали за эти годы! Я так счастлив нашей всемирно-исторической победой, что мне нисколько не страшно умирать!..

Ощущение глубочайшей счастливости всегда отличало Лу-

начарского. Благодаря этому никогда нельзя было по-настоящему, до глубины огорчить или поранить: настолько это был жизнерадостный, внутренне счастливый человек, счастливый своим революционным, большевистским интеллектом, своим славным путем.

Тихие улички Пасси — парижское Замоскворечье. В глухом тупике среди старинных особняков по-чужому вклинилось большое многоэтажное здание новейшей архитектуры. Внутри — ковры, резиной обитые ступеньки лестниц, бесшумная походка сестер и врачей. Полусанаторий, полуклиника, полугостиница на парижский лад.

Человек, откинувшийся на спинку низкого лапчатого кресла, невыносимо томится в комфортабельной и изысканной тюрьме.

— Никак не могу сосредоточиться на чем-нибудь одном. Выздоравливаю я или умираю? Конечно, выздоравливаю. Надо же выздороветь: какие громадные горы работы на завтрашний день! Да и не на завтрашний только, на сегодняшний, на вчерашний. Вчера у меня было пять человек, и с каждым довелось говорить почти по часу.

Ворот мягкой домашней куртки широко распахнут — иначе трудно дышать. Руки далеко высунулись из рукавов, длинные пальцы неспокойно играют на дубовых лапах кресла. Ноги — на них лучше не смотреть: белые, лимфатические, мертвенно-неподвижные. Голова запрокинута далеко назад; впалые желтые щеки, седой клок бороды, тусклый стеклянный блеск правого глаза. И только голос, полнозвучный, неутомимый, луначарский голос с юношескими, задорными верхними нотами, не утихая, рвется через болезнь, через неизмеримую усталость, через мягкое удушье больничной тишины.

— Пять человек, и с каждым о другом. Приехал Тристан Бернар с председателем парижского театрального синдиката. Спрашивают, какие советские пьесы можно рекомендовать на этот сезон. Пришлось рассказать содержание десяти пьес и каждую распропагандировать. Потом американский профессор, очень милый старикашка, хочет ехать к нам, изучать постановку начальной школы. Я ему прочел целую лекцию... Художник пришел, бывший супрематист и беспредметник. Отошел от супрематизма и думает, что пришел к коммунизму. Я с ним спорил, доказывал, что он еще очень далек от наших взглядов на искусство. Он не соглашался, бесконечная дискуссия, ужасно устал. В заключение приехал инженер-америка-

нец, сестра уже не хотела пускать, но я упросил. Чрезвычайно, чрезвычайно симпатичный молодой человек. Специалист по механизации убоя скота. Видимо, по ошибке ко мне попал, ему надо бы в торгпредство. Я был сначала очень огорчен: как-то не приходилось заниматься этой отраслью. Заговорил о буржуазных теориях гуманного умерщвления животных, потом перешли на болевые ощущения различных биологических организмов, соскользнул на последние опыты академика Павлова, увлекся, разошелся, ну, американец пришел в восторг, хочет непременно ехать в Советский Союз. Очень прошу вас, не можете ли раздобыть для меня срочно книжку о постановке боенского и холодильного дела у нас в Союзе? Американец говорит, что мы их нагоняем, и очень быстро.

— Никакой я вам холодильной книги не раздобуду. И вообще, это безобразие так перегружаться разговорами и дискуссиями по самым случайным поводам. Вот я расскажу в Москве, как вы пренебрегаете своим лечением! Вам, Анатолий Васильевич, очень нагорит.

Он улыбается, грустно и чуть сердито.

— Поймите, что если я не буду работать, не буду видеть людей, не буду разговаривать, я в самом деле помру, честное слово. У меня, правда, очень ослабело сердце и все прочее, но вот я с вами разговорился и чувствую себя совсем прилично. А когда один, когда эта проклятая тишина, тогда я ослабеваю совсем-совсем. Перестаю владеть своим телом, чувствую, что внутри меня беспорядочное сборище плохо и несогласованно работающих органов. А наверху одиноко, как в пустой, оставленной и запущенной квартире, лихорадочно и жадно работает мозг. Работает необычайно остро, четко и быстро. Сколько планов, сколько тем для статей, для книг, сколько всего еще впереди, что надо исполнить!

— Ну, что ж, поправитесь и все исполните.

— Конечно, исполню! Я слишком много просидел на административной работе, конечно, это в свое время было необходимо. Но это отразилось на моей литературной деятельности. А так хотелось оставить молодому поколению мои, в сущности, очень большие знания в области мировой культуры и искусства, как-то собрать их в одной-двух-трех книгах... Ко мне проявили необычайную чуткость, когда предложили поехать полпредом в Испанию. Не слишком перегружаясь дипломатической работой, я смогу отдаться литературе, закончить книгу о сатире, биографию Бэкона для «Жизни замечательных людей», книгу о Фаусте, переработку пьесы Ромен

Роллана «Настанет время», закончить серию этюдов о Гоголе, еще много всякого другого... Я так окрылен этими перспективами, так рвусь сначала в Москву, договориться о некоторых делах, а потом в Испанию! Я твердо убежден, что еще много сделаю для партии... Нехорошо, что наши литераторы так мало информируют меня о последних литературных делах. Если бы вы знали, как мне это важно, не столько для себя, сколько для передачи здесь, всем моим иностранным посетителям! Интеллигенция растеряна, ее втягивает, размалывает, швыряет во все стороны новая мельница событий. Их пугает фашизм, они ищут точки опоры, ищут на нашем берегу. Надо бросить им спасательный круг; если бы вы знали, как трепетно они протягивают руки! И наш и мой долг — помочь им. Я это делаю, мой друг, я на посту, хотя и в больнице.

Сиделка и врач вносят хитроумный аппарат с подушечками, трубками и присосками. Он смотрит хмуро, и юношеские высокие ноты в голосе падают.

— А может быть, все это оживление, может быть, оно перед концом... Но мне это не страшно. Если я умираю — умираю хорошо, спокойно, как жил. Как философ, как материалист, как большевик.

Врач просит удалиться, он хочет уложить больного и измерить давление крови. Он строг, этот чужой неумолимый доктор-француз, он не знает, как жалко уйти из этой комнаты, как тяжело прекратить этот последний разговор и только молча погладить на прощание длинные пальцы милых рук.

1933

★

ТРИ ВСТРЕЧИ

От Сан-Рафаэля дорога недолго бежит по берегу. Она начинает кружить в сторону, змеиться, вздыматься вверх. Нежный пейзаж Ривьеры становится мрачнее, суровее, тревожнее. Меньше туристов и кокетливых отелей. Еще дальше, в направлении Канн, на участке Мирамар, путь становится совсем пустынным. Автобус останавливается здесь только по требованию. Выйдя на каменистую дорогу, я еще издали увидел высокую, костлявую фигуру, приветственно распахнутые длинные, худые руки, неприкрытую голову, хмурое лицо, освещенное улыбкой гостеприимства и дружбы.

На большой высоте прилепился к скале домик Барбюса. Окна с обрыва смотрят в пучину прибоя, кипящую среди черных камней и водорослей. В комнате, со своими книгами, бумагами, мыслями, отшельником живет человек. Он не шутит с друзьями, не окружен веселой детворой, он тихо, сосредоточенно работает здесь, часто болеет и опять работает, долго, настойчиво, до изнеможения.

Каждое утро деревенский почтальон выносит из автобуса огромную связку писем и газет. И недоумевает:

— Неужели, господин Барбюс, вы уже успели одолеть вчерашнюю груду? Как бы вам не утонуть в этих письмах!

Со всеми странами мира и больше всего с двумя странами связан молчаливый обитатель домика в Мирамаре. Ему пишут изо дня в день французские рабочие, инвалиды, бывшие участники войны; старики, дети жадно допытывают его, будет ли новая война, скоро ли и как ее предотвратить, что можно сделать для этого, как поступить. И правда ли, что так хорошо это советское государство, за которое он, Барбюс, так стоит, так ратует, которым так восхищается?

Письма из другой страны, оклеенные советскими марками,— в них тоже расспросы о положении в капиталистическом мире, о той же угрозе войны, а еще — приветы, ласковые приглашения, напоминания о том, что Барбюс обещал приехать еще раз в город Тифлис, в город Горловку, в город Одессу.

Два потока писем встречаются на столе у молчаливого, сосредоточенного Барбюса. Он соединяет их в себе. Он пишет советским рабочим, молодежи, студенчеству о повседневной трагедии капиталистических будней, о грозном шелесте приближающейся войны, о героизме и страданиях революционного рабочего класса. А другим, страдающим и бунтующим в оковах угнетателей, он твердит и повторяет радостную правду о стране, где человек не эксплуатирует человека.

Он угостил меня ужином и долгой прогулкой в горах. Трудно было поспевать за его длинным шагом и быстрой чередой мыслей. Расспрашивал обо всем на свете. Именно обо всем на свете: о польских крестьянах, о турецкой промышленности, об урожае в Кабарде, о новых работах Горького, о Монголии, о немецких эмигрантах в Праге. Это не было любопытство человека, засевшего в глуши. Он был прекрасно осведомлен обо всем мире, и особенно обо всех очагах новой войны, призрак которой не покидал его никогда. Но ему было всего мало... И каждого человека он высасывал расспросами,

допытыванием, упрятывая все это в себя, за нахмуренный, думающий, неспокойный лоб.

Беседа шла до глубокой ночи. А рано утром он уже опять сидел, сутулясь, за рабочим столом, разбирал почту и тут же аккуратным твердым почерком писал ответы во все концы мира.

Через пятнадцать дней я видел другого человека. В душном, тесном квартале рынков, в прокуренной комнатке редакции «Монд», на пятом этаже старого дома-колодца, Барбюс проводил заседание. Нервный, напряженный, схватывал на лету реплики, выслушивал множество людей, собирал мнения, формулировал, записывал, звонил в разные концы.

За стенкой его ждали посетители — рабочие — с просьбой выступить на собрании, пролетарские авторы, приехавшие издалека родственники арестованных, приговоренных к смерти революционеров разных капиталистических стран. Он занимался каждым по очереди, внимательно, строго и притом с какой-то неуловимой мужественной теплотой. Самое обращение его с жертвами фашистского террора уже как-то ободряло людей, уменьшало их растерянность, вливало в них какие-то надежды, силы.

Но Барбюс не успокаивал только. Он боролся активно, неутомимо за жизнь и свободу революционных рабочих. Отвоевывал их, группами и поодиночке, у палачей и тюремщиков. Длинная фигура в старом дождевике спускалась по крутой лестнице «Монда» на улицу. Она мелькала в разных частях Парижа, подымалась в подъезды иностранных посольств для протестов, уговоров и петиций. Она путешествовала в поездах и автомобилях из страны в страну, с митинга на митинг, объединяя рабочих, интеллигенцию, инвалидов войны, женщин в активном противодействии фашизму, войне, реакции, истреблению людей и культурных ценностей.

В этом Барбюсе трудно было узнать тихого мирамарского отшельника. Это был человек массы, агитатор, пропагандист, организатор, борец.

В переполненном, бурлящем «Дворце взаимности», среди толпы писателей, Барбюс был ласковым, дружелюбным собеседником, скромным, несмотря на громкое свое имя, внимательным и чутким спорщиком, хорошим товарищем, безупречно чистой личностью, окруженной всеобщим почтительным уважением. Самые по политическим убеждениям далеко стоя-

щие от Барбюса люди, ненавистники того, за что он боролся, защитники того, что он осуждал и свергал, говорили о нем, никогда не меняя мнения:

— Честный человек. Благородный француз.

Там, на Западе, это большой комплимент.

Телефон. Знакомый глуховато-певучий голос:

— За этот квартал мы с вами встречаемся в третьем городе. И, видимо, вам придется даже в Москве быть моим гостем. У меня грипп. Врач не выпускает из комнаты.

И в номере московской гостиницы, опять в ворохах газет и бумаг, опять новый, какой-то по-третьему иной Барбюс. Он приподнят, в отличном настроении, весел, шутлив. Как-то разошлись складки на лбу. Не так чувствуются морщины у рта. И в глазах — улыбка, задор, почти юность.

Московская жизнь посылает в эту комнату свои свежие брызги. Вот цветы и почетный галстук от пионеров, вот стопка новых граммофонных пластинок, а тут — целая стенгазета, энергично принесенная для прочтения.

— Вы знаете, я немножко педант и пробовал использовать свой грипп для приведения в порядок разной корреспонденции. Но ничего не выходит. Москва захлестывает меня своими впечатлениями даже здесь, в комнате. За полгода — какие перемены! Какие успехи, целые новые отрасли, целые пласты, которые надо узнавать без конца!

Он не усидел дома, начал ускользать на улицу. Встретив на одном собрании, плутовски подмигнул:

— Давайте потихоньку выйдем, прокатимся в метро — я еще ни разу там не был; потом вернемся сюда же, никто даже не заметит.

В метро он пришел в состояние почти детского восторга. Медленно бродил по лестницам и галереям, вздыхал и восхищался.

— Это гораздо лучше того, что мне рассказывали! Это просто замечательно! Даже неловко вспомнить о парижском метро. Взять хотя бы станцию Сен-Мишель, ведь там просто грязная шахта!

В вагоне он сел между двумя девушками. Публика узнала. Заулыбались со всех сторон. Молодой гражданин с кимовским значком решительно приблизился к нему.

— Здравствуйте, товарищ Барбюс. Мне только пожать руку.

Барбюс схватил обеими руками эту юную московскую руку и долго, крепко держал. Он сказал мне с нескрываемой гордостью:

— Меня здесь знает не меньше людей, чем в Париже!

Он захотел познакомиться со своими соседками справа и слева.

— Как вас зовут?

— Ксения Шаповалова.

— Ксения! А я думал — это имя есть только в русских романах.

— Что вы! Я не из романа. Я приезжая. Я из Горького.

— Из Горького? Но это и есть из романа. Ваш Горький писал чудесные революционные романы, и они претворились в замечательную жизнь. Такая у вас удивительная страна. Переведите это ей, пожалуйста.

Я перевел, и все в вагоне засмеялись, и дольше всех смеялся Барбюс, радостный, помолодевший, неузнаваемый, словно отмытый от черных забот, сжимающих его там, за рубежом.

Но болезнь уже сидела в нем — тихий, незаметный, смертельный враг, готовившийся к последнему прыжку, чтобы навсегда закрыть эти так редко смеявшиеся глаза.

Кремлевская больница прислала мне пачку писем, пришедших по адресу, но не доставленных адресату.

Пестрая гамма марок. Конверты разных цветов и форматов. Вскрыл те из них, на которых не указан обратный адрес.

«Мыслями и сердцем я целиком около вас, у вашей постели, мой большой друг. Ваш Жан Ришар Блок».

«Вы, наверно, помните меня, Барбюс. Я тот маляр, с которым вы так долго спорили в Сен-Дени. Сейчас я прочел дурацкую новость — будто вы заболели. Сопротивляйтесь, старик, вы ведь не раз уже выползали из разных корявых положений. Но на всякий случай я хотел бы сказать, что вы в общем были тогда правы. Сейчас я участвую в едином фронте вместе с коммунистами и желаю вам скорее выздороветь. Ваш Фернан Поль».

«Дорогой товарищ Анри Барбюс! Мы, свердловские пионеры, очень встревожены вашей болезнью. Выздоравливайте скорее, а затем езжайте к нам, у нас есть курорт Боровое, где вы будете, как дома, в отдельной комнате и окруженный уходом».

К этим письмам не дотянулись длинные, тонкие пальцы Барбюса. Теперь уж не дотянутся никогда.

Маленький дом в Мирамаре разгромлен фашистами. Кучи

писем и бумаг развеяны по ветру. «Кукины дети», маршрутные туристы агентства Кука, не оглядываясь, мчатся мимо, по дороге на Ниццу.

Что осталось?

От живого, материального Барбюса, от высокого сгорбленного человека с незатухающей папироской в углу тонкого сжатого рта не осталось ничего. Папироска потухла, письма не дошли, в пустом доме гуляет сквозняк.

От писателя Барбюса остались книги. В одной из них, касаясь смерти Ленина, он пишет: «После своей смерти человек может жить только на земле». И сам автор этих слов, выдающийся писатель, ставший искренним ленинцем, он останется надолго жить на земле своими жгучими книгами.

...Его книга «В огне» — произведение предельного гнева и отчаяния, ее автор — скорбный и обличающий рыцарь печального образа.

Было время, когда мы не знали Анри Барбюса и он не знал нас. Величайшее преступление совершалось в мире. Волей капиталистов, угнетателей двадцать миллионов людей столкнулись для взаимного массового убийства. Земля была изрезана рубежами огня, пропитана кровью, отравлена ядами. И в этом отвратительном кошмаре истребления, среди пламени и грохота чудовищных пушек, неизвестный солдат французской армии, рядовой Барбюс, встал из окопа; он встал и громко сказал подлинную правду о войне, эту страшную голую правду, не закрашенную ложью генеральных штабов и наемных «патриотов».

Просто и честно написал Барбюс свою книгу. Но такова сила нашего писательского ремесла, такова мощь художника, вдохновленного гневом,— голос Барбюса был услышан везде. Сквозь хвалебные гимны полковых священников, сквозь оркестры военной печати, сквозь громы пушек ясно и грозно прозвучал этот голос. Его услышали как братский оклик миллионы обессиленных людей на фронте и в тылу воюющих стран. Его услышали как приговор себе организаторы войны, палачи народов. Его услышали как призывный сигнал противники войны, рассеянные и задавленные. Его услышал как важное свидетельство великий Ленин, уже готовивший из швейцарского заточения победный штурм российского капитализма.

Есть книги-шуты, и книги-певцы, и книги-пророки. Книга «В огне». лучшая из книг Барбюса,— это книга-боец. Боец не в нарядных доспехах, не в ярком сиянии победы,—

боец с бледным лицом, в изорванном, окровавленном платье, подымающий длинные, худые руки вверх, вооруженный только священным гневом, неотразимой правотой обманутого, преданного, истерзанного капитализмом человечества. И этот боец оказался страшнее многих иных. Он прорвался через кордоны молчания и лжи, окружавшие войну, он сорвал с нее официальные покровы героизма, показал ее настоящий вид, ее подлинную, страшную харю. И книга Барбюса вместе с его именем останется жить века, как непреложный человеческий документ, как большое творение реалистического искусства.

Прекрасной книгой о войне по-настоящему только началась славная и громкая творческая жизнь Барбюса. Книга дала ему мировое имя и всеобщее признание. Буржуазия с почтением и похвалой заговорила о нем; она хотела купить его славой и знатностью в своем кругу, она мечтала замирить его смелое, воинственное перо, она готовила ему академические лавры жреца чистого искусства. Она плохо знала Барбюса.

Искусство не было его самоцелью. Он писал книги кровью своего сердца. Он искал правды и пути в хаосе капиталистического общества; правды прежде всего для себя самого, честного человека, честного сына своего народа. Он искал большой и надежной силы, которая могла бы предотвратить, остановить, опрокинуть страшный призрак новой надвигающейся войны, приближение которой он, содрогаясь, чувствовал.

И эту правду и эту силу, могущую спасти человечество, Анри Барбюс нашел в рабочем классе; он понял, что рабочий класс исторически призван защитить человечество от нового истребления, уничтожив капитализм, установить справедливость, вернуть миру спокойствие, юность, счастье.

Поняв это, Барбюс, как честный человек, как писатель-общественник, сделал для себя все выводы. Без оглядки назад он связал свой путь с путем рабочего класса, свою жизнь с миллионами скромных и трудных жизней рабочих, эксплуатируемых, приговоренных к капиталистической каторге. Свое перо, лучшие мысли своей большой, умной головы он отдал рабочему классу и сам стал в ряды его боевого авангарда. Антимилитарист нашел себя в пролетарском революционере, гуманист пришел к высшему и законченному гуманизму — социалистическому.

1935

★

МАСТЕР КУЛЬТУРЫ

Семьдесят лет назад в маленьком французском городе родился человек, чей путь другим крупнейшим писателем, Стефаном Цвейгом, был назван «чудом чистой жизни». Эта поистине чудесная, сверкающая жизнь, озаренная блеском творчества, пронизанная страданиями и борьбой, проникнутая от начала до конца бескорыстным стремлением к счастью человечества, стала предметом восхищения и восторга, превратилась в знамя, за которым идут, под которым борются.

Ромен Роллан пришел в жизнь вначале не как обличитель и воин, не для споров и сражений. Его влекли к себе лучшие и приятнейшие стороны человеческого духа, сокровища искусства, высокие наслаждения поэзии и музыки. Зачарованный, тихо бродил он в волшебном саду, вдыхал аромат старинной, многовековой европейской культуры, замыкался в кругу ее завершенных достижений. Для него, тогда преподавателя истории искусств в Сорбонне, социальные и политические вопросы были чуждым и неприятным барабанным боем, который врывался в мирную художественную атмосферу. Бетховен и Гете были для него Германией, Англия вся вмещалась в Шекспире, Лев Толстой воплощал Россию, а все вместе гении и мастера искусства составляли единую дружную семью наций, священную родину — Европу.

Дело Дрейфуса, эта громадная политическая схватка французской реакции с более передовыми и отчасти революционными слоями страны, было первым, что ворвалось в спокойный внутренний мир Роллана и потрясло его. Он пишет целое произведение — пьесу на тему о социальной несправедливости. Но его пьеса отвлеченна, она подымает проблему почти до степени абстрактности. Ромен Роллан как автор этой пьесы и как человек стоит далеко от повседневной жизни, от подлинной политической и классовой борьбы.

Но грохот и шум капиталистического общества уже смутили покой Ромена Роллана. Эта чистая и честная душа входит в мир чудовищных противоречий — классовых, национальных, политических. Они звенят в ушах музыканта и поэта Ромена Роллана, они по-новому окрашивают и бетховенскую музыку, и драгоценную итальянскую живопись, и строчки сонетов. Нравственное несовершенство мира — а именно так воспринял Роллан противоречия капиталистического общества — бросает тень на весь волшебный сад буржуазной культуры, на прекрасные цветы искусства. Роллан не может

отвернуться от страшного зрелища, которое вдруг открылось его глазам. Он не может ни забыть его, ни спрятаться от него. Эта натура не знает компромиссов и сделок со своей совестью. Осознать зло для таких людей означает немедленно начать бороться с ним. Это сделал Ромен Роллан со всей своей страстью и стойкостью. Он вступил в борьбу со злом, таким, каким оно ему казалось, и теми способами, тем оружием, какое представлялось ему верным и побеждающим.

Много лет тратит Ромен Роллан на создание своего «Жана Кристофа» — громадной эпопеи о жизни и страданиях европейского интеллигента. Написать эту книгу, вернее, десять книг, было не только подвигом его великого таланта и ума, но подвигом его личной жизни, величайшим подвигом самопожертвования. За свой многолетний труд до самого его окончания Ромен Роллан не получал никакого гонорара, он печатал его отдельными главами, в крохотном нищем журнальчике, тиражом в несколько сот экземпляров. Кому придет в голову платить этому никому не известному автору за его странный роман, французский роман, где главным героем выведен немец, провинциальный немецкий музыкант Иоганн Кристоф! Но француз Ромен Роллан верен своему скромному, молчаливому, задумчивому немецкому герою. Верен ему, как отец, как брат. Шаг за шагом, на каждой странице воспитывает и растит он его. заботливо, но твердо проводит через нравственные испытания. И когда Иоганн Кристоф созрел, он приводит его к себе, во Францию, чтобы столкнуть и сблизить с французским народом.

Перо Ромена Роллана приобретает гневную, обличительную силу. Он показывает отвратительный базар буржуазного общества, продажность, лживость, убожество, разврат, эгоизм. Но в этом же буржуазном обществе он пробует найти передовых, нравственно чистых людей, таких, которые искренне стремятся к улучшению и упорядочению социальной жизни. Ромен Роллан дает Жану Кристофу французского друга, поэта Оливье. Оба они, как воплощение всего лучшего, что есть во французской и германской нациях, соединяются в трогательной, сентиментальной дружбе, вместе мечтают о братстве народов и пробуют найти для него какие-то основы, хотя эти основы весьма туманны и довольно шатки. Они пробуют даже сблизиться для этого с рабочим классом. Но с рабочими держатся как-то сострадальчески и свысока, а сами рабочие, выведенные в «Жане Кристофе»,— замученные, беспомощные, слабые. Жан Кристоф жалеет их, но откровенно говорит: «Ду-

ховная знать напрасно ищет слияния с массой. Она всегда будет тянуться к знати, к лучшим представителям всех классов, всех партий».

Честный до конца, Ромен Роллан правдиво вложил в своего «Кристофа» все этические и социальные мечты, все надежды, все ошибки и заблуждения. Огромное художественное и моральное обаяние вещи принесло ей успех, а Ромену Роллану — мировую славу. Но как жестоко ответил капиталистический мир на мечты Ромена Роллана, как безжалостно расправился с ними! Очень скоро, после окончания роллановской эпопеи, как послесловие к ней, заговорили пушки мировой войны. Капитализм послал миллионы Кристофов против миллионов Оливье. В чудовищной схватке они умерщвляли друг друга. Кровью залита и гниющими трупами завалена была священная родина — Европа.

Ромен Роллан, застыв от ужаса, видел, как ответила жизнь его мечте. Ему суждено было пережить, может быть, самую сильную в его жизни боль писателя и человека, когда он осенью 1914 года получил письмо от матери молодого французского солдата, который был убит в одном из первых сражений. Она писала:

«Немецкая пуля только что убила нашего единственного сына. Перед отъездом он несколько раз выражал желание написать Вам... В Ваших книгах обрела вся эта прекрасная молодежь ту силу, тот героизм, которые слишком угашаются критическим духом нынешнего воспитания. Ваши произведения создали настоящих учеников, которых Ваше влияние подняло над повседневностью жизни, властно придало им радостное одушевление, позволившее им отправиться на войну мужественно, не оглядываясь огорченно на то, что они покидали... Мне хотелось сообщить Вам, чем они Вам обязаны, и за них поблагодарить Вас».

Роллан писал по поводу этого письма: «Сердце у меня разрывалось от такой благодарности».

В страшной, трагической растерянности, в смертельном одиночестве Ромен Роллан покидает свою родину. Он поселяется в Швейцарии, на этом маленьком клочке, на островке в океане мировой бойни. Пробует писать, протестовать, кричать, но его голос не слышен, он тонет в грохоте орудий. Только французская милитаризованная печать, заметив его протесты, награждает его кличкой изменника, предателя отечества. Он хочет поднять другие голоса, обращается к людям, чей авторитет и чье благородство ему казались неоспоримы-

ми. Он пишет знаменитому писателю Германии Гауптману, знаменитому поэту Бельгии Верхарну. Просит их вмешаться, выступить против войны. Его письма к обоим писателям — это поистине потрясающие документы по силе страсти и убежденности. Но разговор идет на разных языках. Гауптман и Верхарн ослеплены, они в угаре военных страстей. Верхарн требует кровавой мести за нарушение бельгийского нейтралитета, а Гауптман всерьез мотивирует проход германских войск через Бельгию, он ссылается на сообщение генерального штаба и как на высший авторитет в смысле правоты — на самого кайзера.

Роллан мечется в моральных страданиях. Он пробует хотя бы временно найти себя в практической работе. Свой кабинет писателя и музыканта он сменяет на огороженную фанерой комнатку в канцелярии Красного Креста. Он наводит справки об убитых, раненых и пропавших без вести, ведет мелкую переписку, тратит на это дни и ночи, стараясь этим хоть в какой-то миллионной доле смягчить страдания людей и свои собственные.

Вскоре он возвращается к своему привычному инструменту работы и борьбы — к литературе. Теперь мы видим Роллана-публициста, пламенного, мужественного, непоколебимого. Но не побеждающего. Потому что, ненавидя войну и страстно мечтая о мире и счастье людей, Роллан не видел подлинных сил, могущих выковать этот мир и счастье, за борьбой неприятельских армий он не зидел гораздо более яростной и важной борьбы классов. Искренний в своей ненависти к войне, он при всей силе этой ненависти оставался буржуазным пацифистом, непоследовательным и потому бессильным.

Трагическая безысходность замыкалась кольцом вокруг Ромена Роллана.

Трагическое одиночество в целом мире, одиночество большой личности — какой материал для почтительного наблюдения, для скорбного любования романтически настроенных современников и потомства!.. Но в том-то и заключается величие подлинно большой личности, что она, пусть даже через большие кризисы, через искания, сомнения, не замыкается в своем субъективном идеализме, переходящем в солипсизм, а находит свое место в эпохе. Таков Ромен Роллан. Тревога мысли, искренность и честность порывов не могли не привести его на единственно верный путь. Он стал искать авангард человечества. И нашел его в рабочем классе и присоеди-

нился к нему, к революционному рабочему классу, к его борьбе.

Когда идеи Ленина вспыхнули заревом Октябрьской революции, Роллан сразу повернул к ним свое внимательное, ищущее лицо. Он приветствовал эти идеи, эту борьбу и пошел к ним навстречу. Путь был нелегким и довольно длинным. По многим причинам Ромену Роллану трудно было бежать по этому пути. Но, шагая медленно, он знал, куда идет. И в своей замечательной статье «Прощание с прошлым» он говорил:

«Пусть впоследствии робкими покажутся первые шаги, они решили все будущее... Иди! Теперь уже не до остановки».

И Ромен Роллан прошел этот путь. Прошел действительно без остановки. Он пришел к революционному пролетариату мира. И примкнул к нему — не как наблюдатель, не как сочувствующий, не как пассивный сторонник, а как соратник, как активный борец, как воин.

И тут многие ошиблись в своем понимании, в оценках натуры Роллана. В его мирном, гуманистическом пацифистском облике им чудились мягкость, безобидность, уклонение от суровых и грубых будней повседневной борьбы. Вопреки таким мнениям Роллан, примкнув к рядам революционного пролетариата, показал себя смелым и убежденным бойцом, лишенным либеральных предрассудков и слабостей...

Иногда сегодняшнего, смелого и воинствующего Ромена Роллана пробуют смутить либерально-пацифистскими аргументами из его же старого и покинутого багажа. Но тщетно. Роллан отвечает словами, полными страсти, уверенности и силы. Он пишет американскому инженеру:

«Пролетарская революция никогда не кичилась либерализмом, и нет никакого смысла требовать от нее того, чего она никогда не обещала и против чего восставала с первых же дней, а именно против немощного и лживого псевдолиберализма, обманывающего западный мир, против этого попустительства, которое на самом деле, в руках людей наиболее влиятельных, богатых и хитрых, служит орудием для того, чтобы править демократиями...»

«Вы уверяете, что будто бы нет никакой войны (против СССР), что она является только оговоркой. Как вы легкомысленны и мало сведущи, когда высказываете подобное утверждение! Я пристально, уже пятнадцать лет, слежу за политической и дипломатической историей. Я твердо знаю, что СССР постоянно находился под угрозой коалиции, заговоров

и что опасность заметно возросла, когда в Германии пришел к власти Гитлер вместе со своими шутами (Розенберг и К°). Союз социалистических советских республик окружен огненным кольцом фашизмов, империализмов и расовых теорий, воинствующих и делячествующих, которое идет от сэра Детердинга к белогвардейскому кондотьеру, миллионеру Вонсяцкому, состоящему на службе у Японии, от англо-нидерландского золота к американскому золоту и к японскому генеральному штабу, проходя через Берлин, Варшаву и Ригу. Менее, чем когда бы то ни было, должно советское правительство ослаблять бдительность. Прочность его власти — существеннейшее условие общественного блага...»

Сорок восемь лет назад молодой студент Ромен Роллан, мучимый сомнениями своей творческой жизни, написал письмо яснополянскому мудрецу, гениальному Льву Толстому. Он получил пространный ответ, в котором знаменитый русский писатель предлагал студенту выбирать между этическим совершенством и радостями искусства. Он обрушивался на Шекспира. Он считал музыку «безнравственным наслаждением»... Студент Роллан был растроган вниманием к нему Льва Толстого, но потрясен и удручен существом письма.

Сейчас, через сорок восемь лет, сейчас седой отшельник Вильнева, семидесятилетний Ромен Роллан, получает трогательные и радостные письма от пионерок колхоза «Ясная Поляна». Советские дети пишут ему о радости бытия, о высоких наслаждениях искусства, о Бетховене и Бахе, которые пришли в сельские дома вместе с колхозной культурой, с советской властью, с социализмом. И эти письма согревают сердце великого писателя, они молодят его пристальный, слегка сумрачный взгляд. Этих и им подобных писем сотни и тысячи; крепкие жизненные нити протянулись из огромной страны на маленький клочок, затиснутый между Францией, Германией, Италией, на тихий швейцарский дом, где пишет, где борется с войной и фашистским варварством великий писатель-гуманист.

Дружба и любовь Ромена Роллана к Советскому Союзу имели своим реальным и отчасти символическим завершением известную нам всем поездку писателя в Москву. Он своими глазами увидел живые образы социалистической страны, он побыл среди рабочих и колхозников, среди молодежи, созидающей новый мир, он жил под крышей своего старого друга, великого пролетарского писателя Горького...

Семидесятилетний Ромен Роллан не расстается с пером, и перо его стало прекрасным оружием защиты Советского Союза, защиты пролетариата, защиты культуры.

1936

★

ГЕНЕРАЛ ЛУКАЧ [1]

По комиссариатскому телефону вызвал голос на русском языке:

— Михаиль Ефимович, это с вами один добрый приятель говорит, один о-очен добрый приятель, вы, наверно, его узнаете, когда увидите...

Говорили издалека, по какому-то пригородному проводу, но я тотчас же ответил:

— Здравствуйте, Залка!!! Где вы? Давайте сюда!

Голоса и руки я помню, как лица. Конечно, это говорок Залки, протяжный и музыкальный, с западным «л», с украинским «га», со звонким «р», с венгерскими соскальзываниями ударения на первый слог, с крошечными паузами после каждого слова. Вспомнил его руки, небольшие, широкие в ладонях, пальцы короткие, мягкие, с крепкими ногтями, в густых светлых волосках.

В трубке захихикали. Он сказал, очень довольный:

— Это не Залка, дорогой Михаиль Ефимович, это другая личность. Но вы не совсем ошиблись. Скоро я вас увижу, а пока счастлив слышать ваш голос, мой р-родной.

К подполковнику Рохо пришли договариваться о заданиях командир Интернациональной бригады Эмиль Клебер и его помощник Ганс. От них я узнал, что уже сформирована вторая бригада и командиром ее намечается Павел Лукач.

— Это венгерец, писатель,— сказал Клебер.— Вы должны его знать, он много жил в Москве.

* * *

Трудный пост он принял с решимостью и оптимизмом.

За несколько дней он привлек к себе симпатии бойцов восемнадцати национальностей, соединившихся в бригаде. В нем нет жесткости и особой властности, однако влияние его на часть очень велико; это тип скорее командира-отца, командира-брата, храброго, сердечного, веселого, бодрого. Для

[1] Из «Испанского дневника».

всех он находит по нескольку слов, иногда на весьма неопределенном наречии — испано-франко-немецко-венгерско-русском. Но никто не жалуется, что не понимает его; послушав, даже строптивые люди, поворчав, делают именно то, чего хотел Залка, он же генерал Павел Лукач. После таких объяснений он оборачивается и лукаво подмигивает мне большим добрым голубым глазом:

— Будет дело! Будет дело, дорогой Михаиль Ефимович!

Потери людей потрясают его. При посторонних он еще держится, но, запершись вдвоем, роняет голову на руки, плечи у него трясутся, уста роняют проклятия и стоны, проклятия и стоны.

* * *

Залка-Лукач ходит усталый и измученный. Одиннадцатая и двенадцатая бригады перенесли много дней тяжелых боев в Университетском городке, понесли тяжелые потери. Третьего дня погиб член Центрального Комитета Германской компартии Ганс Баймлер. «Какие люди, какие люди!» — восклицает Лукач. Он не может привыкнуть к гибели людей, хотя сам ведет их в бой. В мемуарах Амундсена есть одна простая фраза, которая стоит всей книги. Амундсен говорит: «Человек не может привыкнуть к холоду». Это говорит Амундсен — он знает. Он провел большую часть жизни в Арктике, во льдах, у Северного и у Южного полюсов. Он и окончил свою жизнь там, рванувшись спасать чужого, антипатичного ему человека. На Севере, на Шпицбергене, в Гренландии, из-под вечных льдов люди добывают каменный уголь. Мерзнуть ради тепла. Голодать ради сытости людей. Сидеть годами в тюрьме ради свободы. Бороться, уничтожать, умирать самому ради жизни, ради счастья. Человеческий род революционен.

Лукач трепетно и жадно любит людей. У него нет большего удовольствия, чем общаться с ними, быть среди них, шутить с ними, говорить им приятные, ласковые вещи, греться около них и согревать. Он не любит ссориться и не любит оставаться один в комнате. В Москве его огорчали и тяготили литературные споры, он обожал праздники, юбилеи и чествования, банкеты и дружеские вечеринки. В Венгрии он заочно приговорен к смертной казни как непримиримый враг фашистского режима. Он попал в незнакомую Россию, он дрался добровольцем против Колчака в Сибири, против Врангеля в Крыму. В Испании он дерется вместе с незнакомым ему народом против его врагов. Он мерзнет ради тепла...

* * *

...Стоило рвануть дело с мертвой точки, стоило преодолеть косность, сопротивление — и теперь уже все с аппетитом и увлечением хлопочут над переформированием. Каждая бригада старается обзавестись своими постоянными кадрами, держит на счету оружие, обзаводится своим хозяйством и транспортом. Командиры более опытные и сноровистые проявляют свою изобретательность и инициативу. На первом месте тут, конечно, хитрый генерал Лукач. Он уже отлично разобрался в незнакомой обстановке, завел себе лихих завхозов-толкачей, развил громадную деятельность. Бригада почти не выходит из боев, но Лукач нашел время организовать и оружейно-ремонтную мастерскую, и прекрасный лазарет, и швальню, и прачечную, и библиотеку, и автопарк, о размерах которого ходят легенды. Время от времени его вызывает к себе Рохо; после длительного объяснения он выходит от начальника штаба слегка взволнованный и вслух протестует, не очень, впрочем, решительно:

— Раздевают, дорогой Михаиль Ефимович! Раздевают до нитки! Опять отобрали пятнадцать грузовых и три лимузина!..

— Так ведь у вас, наверно, кое-что еще осталось.

— Кое-что, но не больше, дорогой Михаиль Ефимович! Вы бы знали, родненький, как это все достается, каждый грузовик, каждый примус: потом, кровью, мучением, блатом!

— И блатом тоже?!

— А как же! Сплошной блат, дорогой Михаиль Ефимович, я прямо измучился. Без блата ничего не достанешь. Артиллерия стреляет по блату, ей-богу! Мне в Университетском городке придали дивизион,— ну, прямо одно страдание. Стреляет через год по столовой ложке. Приставил к нему двух офицеров связи — ничего не могут добиться. Командир дивизиона объясняет, что нет снарядов, что старые стволы накаляются, что орудийная прислуга безграмотная, что нет приказа от начарта сектора. Я терпел день, терпел два, потом сам пришел на батарею. Говорю командиру дивизиона: «Мы с вами уже два дня дружно сражаемся, а не завтракали вместе ни разу». Вот поехали завтракать, и он, как я и думал, чудно умеет завтракать. При этом я изругал его сапоги и сообщил, что у нас при бригаде работает сам королевский сапожник самого Альфонса. Так вы знаете, мы теперь такие друзья! Когда мы атаковали в последний раз Паласету, он нам подал такой огневой вал, мне даже самому страшно стало...

Глаза его светятся лукаво и по-озорному.

— Говорят, вы вчера под окнами у Миахи взяли в плен батальон пехоты?

— Не под окнами у Миахи, это все басни, дорогой Михаиль Ефимович. Это там у меня, в Фуэнкаррале. Я смотрю: целую неделю подряд ходит одна колонна мимо моего штаба. Куда-то ходит обедать и потом обратно. Я сначала не обращал внимания, но потом заметил: там в первой шеренге всегда шел один тип с подвязанной щекой. По этой подвязанной щеке я запомнил колонну. Подсчитал: полтораста человек, полтораста винтовок. Непонятно — чего это колонна гуляет по городу! Подослал к ним адъютанта спросить, что за часть. Ответили: охрана Сеговийского моста. Вот тебе на! Сеговийский мост взорван четырнадцатого ноября. Я подумал: родненькие, да вы ж дезертирничаете шесть недель на виду у публики. Это меня заинтересовало в чисто винтовочном разрезе. Словом, я надел свою генеральскую фуражку и, когда появилось храброе войско с подвязанной щекой, вышел им наперерез, скомандовал: «За мной!» — и повел церемониальным маршем к себе на задний двор. А там скомандовал: «Родненькие, клади винтовки на теннисную площадку». Вот и все. Они не стали спорить, положили оружие, и их как ветром сдуло...

* * *

Мы сидели на новом командном пункте у Лукача, в крохотной деревушке, повисшей, как орлиное гнездо, на уступе высоких скал. «Сейчас шашлык будем кушать»,— домовито сказал испанский генерал. Он разгуливал без мундира, в рубашке с расстегнутым воротом, хлопотал насчет баранины и чтобы прибавили дров в огонь. К моменту, когда мясо изжарится, он приготовил вина и граммофон с пластинкой «Капитан, капитан, улыбнитесь», вставил новую иголку.

Три германских самолета кружили над деревней. Бойцы укрылись в пещеры. Взрывы отдавались по камню скал, но не причиняли вреда.

— Сердятся,— сказал Лукач.— Недовольны. Побили мы их. Как миленьких. И еще побьем. Не раньше, так позже.

* * *

Барселона дохнула тяжелым зноем. Все попряталось с улиц в тень. Заказал себе машину на Валенсию. В «Мажестике» я нашел Эренбурга, он изнемогал от духоты, он сказал мне, что вчера началось республиканское наступление на Уэску. Удар-

ной группой в этой операции служит сорок пятая дивизия под командой Лукача-Залки. Известий с фронта еще нет.

Мы решили позавтракать вместе, он вышел куда-то по соседству и мгновенно вернулся. На нем не было лица.

— Звонят по телефону,— сказал он.— Будто бы Лукач убит.

— Кто звонит?

— Из Лериды. Будто Лукач и Реглер убиты вместе, в автомобиле. То ли снарядом, то ли бомбой с самолета.

Мы смотрели друг на друга, не произнося ничего. Я выдавил из себя:

— Это, наверно, утка. Здесь ведь любят сочинять, что кому взбредет.

Но мы не пошли завтракать. Машина на Валенсию тоже зажглась. По телефону с разных концов передавали разные слухи и варианты, но все мало обнадеживающие. С Лукачом и Реглером, несомненно, что-то случилось. По одному варианту, Лукач погиб, а Реглер тяжело ранен. По другому — оба ранены. По третьему — погибло трое: Лукач, Реглер и Гейльбрунн, начальник санчасти у Лукача. Наступление на Уэску оборвалось.

Милый, милый Лукач, неужели это случилось?..

Мы с ним виделись в последний раз на Гвадалахаре, в крохотной деревушке среди скал. Старинная церковь прилепилась на уступе скалы. «Юнкерсы» кружились и рокотали, они хотели расклевать штаб, бомбили скалы; он приказал вынести картины из церкви, чтобы они не погибли; вместе мы любовались наивной и страстной живописью неизвестного художника пятнадцатого века — святые напоминали одновременно тореадоров и влюбленных кабальеро. Я сказал: «А вот в Москве есть такой венгерский писатель Матэ Залка, ему бы попасть в эту глушь, в эти сказочные места, описать и сдать в Гослитиздат, вот бы там его обругали за уклон в экзотику!». Он смеялся заразительно, детски: «Факт, обругали бы, как миленького!» Он завидовал, что я собираюсь в Москву, взгрустнул, просил обязательно повидать Веру Ивановну и Талочку, передавал тысячи приветов, забеспокоился насчет кооперативного дома в Нащокинском переулке.

В машине я вынул из портфеля два письма без адреса на конвертах — их надо было передать лично в руки командиру двенадцатой бригады, ныне сорок пятой испанской дивизии.

Одно письмо было заклеено, я положил его обратно. В другом, незакрытом, я прочел:

«Товарищ председатель домоуправления!

Доношу, что у нас в доме № 3/5 все благополучно. Топить перестали по случаю весны. Ремонт фасада переднего закончен. Боковые фасады — как были... Я, товарищ председатель, замещаю вас, как могу... Жильцы очень довольны, говорят, что я, Матвей Михайлович, нисколько не хуже тебя работаю, так что передо мной открываются широкие перспективы. А серьезно говоря, я по тебе очень соскучился и очень горжусь, что у меня есть такой приятель. Михаил Ефимович передаст, как тебя любят. Одиннадцать человек у нас выехали в Лаврушинский переулок. Пелик кланяется тебе. Целую и горжусь тобой, Матюша.

Твой Виктор».

* * *

Лукача привезли. Его тело выставили в большом прохладном зале бывшей иезуитской семинарии, где теперь комитет Валенсийского крестьянского союза. Вакханалия пестрых южных цветов бушует кругом его бледного, потемневшего лица. На севере цветы умеют принимать скорбный, похоронный вид. Здесь они буйно и страстно кричат о жизни, опровергают смерть.

Под вечер его хоронили. Митинг провели на улице в самом центре города, между вокзалом и ареной для боя быков.

Запрудилось движение, трамвайные звонки и автомобильные гудки прерывали речи ораторов. Ораторы говорили о том, что доблестный антифашист генерал Лукач вошел в историю испанского народа как незабываемый герой.

1937

МУЖЕСТВО

Николай Островский лежит на спине, плашмя, абсолютно неподвижно. Одеяло обернуто кругом длинного, тонкого, прямого столба его тела, как постоянный неснимаемый футляр. Мумия.

Но в мумии что-то живет. Да. Тонкие кисти рук — только кисти — чуть-чуть шевелятся. Они влажны при пожатии. В од-

ной из них слабо держится легкая палочка с тряпкой на конце. Слабым движением пальцы направляют палочку к лицу, тряпка отгоняет мух.

Живет и лицо. Страдания подсушили его черты, стерли краски, заострили углы. Но губы раскрыты, два ряда молодых зубов делают рот красивым. Эти уста говорят, этот голос спокоен, хотя и тих, но только изредка дрожит от утомления.

— Конечно, угроза войны на Дальнем Востоке очень велика. Если мы продадим Восточно-Китайскую, на границе станет немного спокойнее. Но вообще-то разве они не понимают, что опоздали воевать с нами? Ведь мы сильны и крепнем все больше. Ведь наша мощь накопляется и прибывает буквально с каждым днем. Вот на днях мне прочли из «Правды»...

Тут мы делаем новое страшное открытие. Не вся, нет, не вся голова этого человека живет! Два больших глаза своим тусклым, стеклянистым блеском не отвечают на солнечный луч, на лицо собеседника, на строчку в газете. Ко всему — человек еще слеп.

— Большинство речей писательского съезда я слышал по радио. Но должен сказать, многого в речах не хватало. Мало, по-моему, отражена была тема обороны. И по докладам Ставского о работе с молодыми я ждал больше выступлений. Нам хотелось бы получить от более умелых товарищей их опыт: как рыскать по жизни, как находить интересное, ценное, какими глазами это все наблюдать...

Он говорит медленно, серьезно, следуя ходу своей мысли, будничным тоном человека, не слишком воображающего о себе, но далекого от чувства какой-нибудь отрешенности, неполноценности, неравенства с другими людьми. Если сейчас вскочить и, волнуясь, сказать, что вот он сам, Николай Островский, есть интереснейший сюжет, что о нем давно должны были бы написать опытные литературные мастера, его должны были давно заметить прославленно-зоркие писательские очи,— такой порыв показался бы здесь, в комнатке, неуместным, несерьезным, стоящим ниже спокойного, делового уровня нашей беседы.

Наша страна любит героев, потому что это героическая страна. Охотно и шумно мы чествуем своих героев, старых и новых, благо они не убывают. Что ни день, крепкие и веселые, совершают советские люди чудеса храбрости и силы на льдинах, в прозрачных толщах стратосферы, на шахмат-

ных полях, на парашютных зонтиках, на беговых дорожках, в лыжных переходах. Мы и радуемся этим молодцам, разглядываем их на торжественных собраниях, на страницах журналов, на экранах кино — их бронзовые плечи, победные улыбки, слышим их звонкие голоса.

Не всех героев мы знаем. И не всех мы умеем замечать.

Коля Островский, рабочий мальчуган, мыл посуду в станционном буфете первые годы революции на Украине. Хозяйка и официанты воспитывали его пинками ноги. Но скоро парень нашел себе других воспитателей. В кровавой мешанине петлюровщины, германской и польской интервенции быстроногий паренек оказался ловким и смелым помощником революционных рабочих. Прятал оружие, носил записки, шнырял под носом у противника, принося своей разведкой большую пользу красным партизанам. Потом пошел в конную армию и в комсомол, в передовые, в лучшие ряды украинского комсомола, того, что своей молодой, горячей кровью щедро жертвовал для освобождения Родины.

В седле сражался Коля Островский у Киева, у Житомира, у Новоград-Волынска. Под Львовом, в кавалерийской погоне за отступающим противником, перед глазами его «вспыхнуло магнием зеленое пламя, громом ударило в уши, прижгло каленым железом голову. Страшно, непонятно закружилась земля и стала поворачиваться, перекидываясь на бок. Перелетая через голову Гнедка, тяжело ударился о землю...».

Комсомольца вылечили, поставили на ноги, пустили в жизнь, в работу. Вот он в Киеве, в губкоме. Собирает хлеб, воюет с бандитами, заготовляет дрова, восстанавливает железную дорогу. Брюшной тиф валит с ног, но опять он, с порога смерти, врывается в жизнь и опять работает, уже пропагандистом, организатором, руководителем разросшихся комсомольских легионов. Над столом выросла полка с книгами — Маркс вперемежку с Горьким и Джеком Лондоном. В цеху борется с прогулами, в ячейке — с оппозицией, в пригородной слободе — с хулиганами. И всюду одолевает, и всюду побеждает, и всюду рвется вперед, молодой, стремительный, неукротимый... Вот он уже секретарь окружкома комсомола, вот в Москве, на Всесоюзном съезде...

И вдруг против Коли Островского выступает новый, леденящий, страшный враг. Все предыдущие опасности по сравнению с этой кажутся детской забавой.

Ранение под Львовом, давно уже забытое, вдруг напоминает о себе зловещими и таинственными симптомами.

Видимо, тиф подтолкнул этот процесс. Упадок сил, слабость.

Коля получает длительный отпуск. Крым. Санаторий. Напряженные головные боли. Нервозность. Врачи с трудом разбираются в болезни. Все-таки, когда путевка истекла, комсомолец возвращается в Харьков и просит нового назначения.

Он опять секретарь комсомола большого промышленного района. Первая речь на городском активе, потом вдруг авария с автомобилем, раздавлено колено правой ноги, операция, опять отпуск.

Он пишет брату:

«Ты не прав, что так упрямо отказываешься уходить с производства на работу председателя горсовета. Ты воевал за власть? Так бери же ее. Завтра же бери горсовет и начинай дело.

Теперь о себе. У меня творится что-то неладное. Я стал часто бывать в госпиталях, меня два раза порезали, пролито немало крови, потрачено немало сил, а никто еще мне не ответил, когда этому будет конец... Нет для меня в жизни ничего более страшного, как выйти из строя. Об этом даже не могу и подумать. Вот почему я иду на все, но улучшения нет, а тучи все больше сгущаются. После первой операции я, как только стал ходить, вернулся на работу, но меня вскоре привезли опять. Сейчас получил билет в санаторий «Майнак» в Евпатории. Завтра выезжаю. Не унывай, Артем, меня ведь трудно угробить. Жизни у меня вполне хватит на троих. Мы еще работнем, братишка. Береги здоровье, не хватай по десяти пудов. Партии потом дорого обходится ремонт. Годы дают нам опыт, учеба — знания, и все это не для того, чтобы гостить по лазаретам».

Но именно то самое страшное, чего боялся Коля Островский, поджидает его. Он подслушивает реплику профессора о своей судьбе:

— Этого молодого человека ожидает трагедия неподвижности, и мы бессильны ее предотвратить.

Начинает отниматься одна нога, потом другая, потом рука до кисти... Это в двадцать четыре года, когда жизнь пьянит всеми цветами и запахами, когда рядом любимая и любящая женщина.

Островский бьется, он хочет вырваться из деревянных объятий паралича. Не согласен примириться с инвалидной книжкой. Просит какой-нибудь работы, не требующей движения.

Может быть, редакционной, литературной. Нет, в редакции отказываются от него. Малокультурен, пишет с ошибками.

Вдобавок наступает самое чудовищное. Тухнет глаз. Сначала один, потом другой. Наступает вечная ночь.

Самый короткий путь избавления спрятан в ящике ночного столика. Островский долго держит в руках холодную сталь револьвера... Нет, все-таки он не трус, а боец.

«Шлепнуть себя всякий дурак сумеет всегда и во всякое время. Это самый трусливый и легкий выход из положения. Трудно жить — шлепайся! А ты пробовал эту жизнь победить? Ты все сделал, чтобы вырваться из железного кольца? А ты забыл, как под Новоград-Волынском семнадцать раз в день в атаку ходили и взяли-таки наперекор всему? Спрячь револьвер и никому никогда об этом не рассказывай! Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной».

Он делает последнюю штурмовую попытку спасти свое тело. В Москве делают сложнейшую, бесконечно длинную операцию, искромсав весь позвоночник, исковыряв шею, вырезав паращитовидную железу. Ничего не вышло.

И тогда, собрав на уцелевших живых клочках запасы жизненной теплоты, нервной энергии, мужества, он начинает новый длительный поход, завоевание места в рядах строителей социализма.

Друзья-комсомольцы оборудовали ему радионаушники. Сделали дощечку для писания вслепую. Читали ему вслух. Коля Островский взялся за литературу. Он надумал стать писателем. Решил добиться этого.

Не улыбайтесь сострадательно. Это излишне. Почитайте-ка лучше дальше. Островский изучил грамматику. Потом художественную классическую литературу. Закончил и сдал работы по первому курсу заочного коммунистического университета. А затем начал писать книгу. Повесть о дивизии Котовского.

В процессе работы выучивал наизусть слово в слово, чтобы не потерять нить. Иногда по памяти читал вслух целые страницы, иногда даже главы, и матери, простой старухе, казалось, что сын еще и сошел с ума.

Написал. Послал на отзыв старым котовцам. Почта подсобила парализованному автору, чем могла: она бесследно потеряла рукопись. Копии Островский по неопытности не сделал. Полугодовой труд пропал даром.

И что же? Островский начинает все сначала. Задумывает новую книгу, на новую тему. Задумывает — и делает. Роман. «Как закалялась сталь». В двух томах.

Послал свою вещь в издательство. Не обивал порогов, не трезвонил по телефону. Не суетился с протекциями. Сама его книга, придя на редакционный стол, обожгла своей — вы думаете надрывностью, скорбью? — нет, молодостью, задором, свежей силой.

Без всяких протекций книгу выпустили. И опять — не ворожили ей библиографические бабушки, не били рекламные литавры в «Литературной газете», а читатель за книгу схватился, потребовал ее. Сейчас она тихо, скромно вышла вторым изданием, в тридцати тысячах экземпляров, и уже разошлась, и уже готовится третье издание...

Бойкие молодые человеки, нарифмовав хлестко пару страниц в толстом журнале, сорвав хлопки на ответственной вечеринке, уже рвут толстые авансы, уже бродят важным кандибобером по писательским ресторанам, уже пудрят фиолетовые круги под глазами и хулиганят на площадях в ожидании памятников себе... Маленький бледный Островский, навзничь лежащий в далекой хатенке в Сочи, слепой, неподвижный, забытый, смело вошел в литературу; отодвинул более слабых авторов, завоевал сам себе место в книжной витрине, на библиотечной полке. Разве же он не человек большого таланта и беспредельного мужества? Разве он не герой, не один из тех, кем может гордиться наша страна?

И главное, что питало эту мужественную натуру? Что и сейчас поддерживает духовные, физические силы этого человека? Только безграничная любовь к коллективу, к партии, к Родине, к великой стройке. Только желание быть ей полезным. Ведь Островский при всех случаях оставался бы материально обеспеченным. Ему не угрожала нищета, как инвалиду капиталистического строя. У него есть персональная пенсия, близкие люди — лежать бы, не утомляться, сохранять оправданное бездействие. Но так велико обаяние борьбы, так непреодолима убедительность общей дружной работы, что слепые, параличные, неизлечимо больные бойцы сопутствуют походу и героически рвутся в первые ряды.

1935

★